



Подступы к решительным переменам в строении литературы

Конец XVI — начало XVII века

С конца XVI века в России создается бурная обстановка надвигающейся, а затем развившейся Смуты, всколыхнувшей все русское общество снизу доверху. Террор Ивана Грозного сдерживал, но одновременно и усиливал классовое напряжение, а когда смерть его положила начало династическим неурядицам и борьбе за власть, за престол, то борьба эта быстро перешла в могучий классовый взрыв. Иноземная интервенция породила всенародное патриотическое движение, освободившее Россию. Царистские иллюзии повлекли за собой многочисленных самозванцев, в какие-то не слишком длинные периоды времени опиравшихся на население посадов и крестьянские массы. Самозванцы сменяли друг друга. Наряду с насильственными захватами власти появились и совсем новые формы решения государственных во-

просов — добровольные или полудобровольные ополчения, затем выборы, земский собор; обсуждались не только наследственные права, но и характеры претендентов.

В этой обстановке в начале XVII века литература вновь обрела высокое литературное самосознание. Это явственно ощущается в поднимаемых ею темах, в широте и глубине реагирования на исторические события. Она уже не просто помпезно оформляет государственную жизнь, а, как и столетие назад, играет по-настоящему громадную гражданскую роль в жизни общества. Ее темы общенациональны, ее слово властно и требовательно, ее критическое отношение к недостаткам общественной жизни беспощадно. На первый план выдвигаются произведения если даже и небольшие по размерам, зато монументальные по замыслу и стилю, исполненные гражданских чувств, во многих случаях новаторские по жанру, по своим связям с народным творчеством, с зарубежными литературами.

Особую роль в литературных произведениях, посвященных Смуте, сыграло ощущение правдивости изображаемого, стремление к фактичности и документальности. Литература стала своеобразным судом над происходящим и произошедшим. Поэтому большое значение приобрели «свидетельские показания», «документы» и сама их форма. Возрастало и значение личностного начала. Авторы начинают осознавать свою собственную ответственность за события, в которых участвовали и о которых пишут. Автор должен был быть «чистым», «незапятнанным», поэтому авторские самооправдания — прямые и косвенные, — а также преувеличения своей роли в событиях, занимают значительное место в повествованиях о Смуте.

Одно из самых замечательных произведений об истоках Смуты — «Повесть о житии царя Федора Ивановича», составленная патриархом Иовом не позднее 1603 года. По своему фактическому содержанию «Повесть» эта сравнительно бедна фактами, не очень ясна она и по своим тенденциям: оправдать передачу русского престола боярину Борису Федоровичу Годунову? Но выражено это только в одном эпизоде. После победы под водительством Годунова над двинувшимся на Русь войском крымского хана Федор Иванович снимает со своей шеи златокованую цепь и возлагает ее на Бориса, «честь победе его воздая и симъ паки на немъ прообразуя царского свое-

го достояния по себѣ восприятия и всего превеликого царства Русийскаго скифетродержателства правление». С точки зрения отточенности формы, ритмической организации прозы и синтаксической ясности сравнительно длинных (как это полагалось в древнерусской риторической прозе) периодов произведение это представляет собой своего рода шедевр. Оно начинается с традиционного восхищения величием вселенной, имеющего яркие аналогии в былинном эпосе¹, и включает традиционный для фольклора, развернутый и отточенный по ритмичности плач царицы Ирины по своему умершем муже. В идеализированном образе Бориса Годунова значительное место уделено в «Житии» его строительной деятельности — и в самом деле удивительной. Отмечается, что он создал много каменных градов и в них «превеликие храмы в славословие божие возгради и многие обители устрои», а Москву «яко некую невесту» украсил, выстроив в ней много храмов, палаты купеческие и стены.

«Повесть» эта открывает собой новый период древнерусской литературы, в котором события Смуты заняли центральное место.

* * *

Пока события Смуты были еще в своем начальном периоде, пока народная память не была еще отягощена жгучими воспоминаниями о бесчисленных изменах и продажности руководителей, возникло произведение, героизировавшее одного из полководцев, очищавшего Русский Север от иностранных захватчиков, — князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

Память о Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском сохранилась и в литературе — двумя повестями о нем (одна о рождении его, другая — о смерти) — и в народной исторической песне. Народное воображение было потрясено его внезап-

¹ Ср. начало «Повести»: «Небеси убо величества и высота недостижна и неопишима, земли же широта и долгота неосяжима и неизследима, морю же глубина неизмерима и неизпытима...» — и начало былины о Соловье Будимировиче: «Высота ли, высота поднебесная, глубота, глубота окиян-море; широко раздолье по всей земле, глубоки омуты Днепровские», а также начало Слова Кирилла Туровского «О расслабленном»: «Неизмерна небесная высота, не испытана преисподняя глубина, ниже сведомо божия смотра таянство...»

ной кончиной в мае 1610 года на пиру у князя Воротынского, и создано представление о его сознательном отравлении боярами-изменниками.

Личные свойства человека, его совесть, его честность и твердость стали осознаваться как решающие не только в его собственной жизни, но и в судьбах государства. Особенно показательны в этом отношении две повести о князе Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском. Наряду с книжными элементами в обеих повестях ярко прослеживается народно-песенная струя. Вот как, например, объясняется и оплакивается смерть Скопина: «И как будет после честного стола пир навесело, и диявольским омрачением злодеяница та княгиня Марья, кума подкрестная, подносила чару пития куму подкрестному и била челом, здоровала с крестником, Алексеем Ивановичем. И в той чаре питье уготовано лютное, питье смертное. И князь Михайло Васильевич выпивает ту чару досуха, а не ведает, что злое питье лютное смертное. И не в долг час у князя Михаила во утробе возмутилося, и не допировал пиру почестного, и поехал к своей матушке, княгине Елене Петровне. И как выходит в свои хоромы княженецкие, и усмотрела его мати, и возрила ему во ясные очи. И очи у него ярко возмутились, а лице у него страшно кровию знаменуется, а власы у него на главе стоя колеблются». Здесь и изобразительность, и фольклорность, и лиричность. Таков же и плач матери по Скопине-Шуйском: «Чадо мое, сын, князь Михайло Васильевич. Для чего ты рано и борзо с честнаго пира отъехал? Любо тебе богоданный крестный сын принял крещение не в радости? Любо тебе в пиру место было не по отчеству?» Поразительно, как в этом плаче сочетается реальный пир, на котором он умер, с метафорой жизни как пира.

Можно говорить о стилистическом разнообразии в этой повести, но этот стилистический разнобой — свидетельство о новых художественных исканиях, и он пронизывает собой в целом всю литературу, посвященную событиям Смутного времени, — времени, с которого начались многие новые явления в русской литературе.

Здесь и влияние народных произведений, и церковная риторика, и простота летописного стиля, и фактографическая запись молвы и разговоров, и наблюдательность человека практического ума, и хитрость участника значительнейших

событий и многое другое, из чего создавалось то необыкновенное смешение различных явлений, которое в дальнейшем должно было породить совершенно новую, решительно отличающуюся от старой, средневековой, систему литературы нового времени.

Народное начало совершенно по-иному и в связи с иными событиями сказалось и в другом, наиболее раннем произведении о Смуте — в «Послании дворянина к дворянину» Иванца Фуникова. Это «смеховое произведение» написано в форме послания, но использует оно народный стих, который в древнерусской литературе воспринимался как нечто несерьезное, близкое к смеховой форме выражения скоморохами своих мыслей, иногда критических, направленных к осмеянию правящих классов. Дворянин Фуников, вероятнее всего вымышленное лицо, жалуется на свои несчастья и жалобы свои выражает в той смеховой форме, которая была привычна для крестьян и посадских людей, смехом смягчавших тяготы своего существования в руках восставших — «тульских воров».

Одним из самых значительных произведений, направленных к тому, чтобы побудить русских людей выступить в защиту независимости России против интервентов, явилась «Новая повесть о преславном Российском царстве». Она была составлена во второй половине декабря 1610 — начале января 1611 года и принадлежала перу простого дворянина — сыну боярскому или приказному дьяку — и была направлена против изменнического боярского правительства. Это был прямой призыв к восстанию. «Вооружимся на общих сопостат наших и врагов и постоим вкупе крепостне за православную веру, и за святых божия церкви, и за свои души, и за свое отечество... и изберем славную смерть... нежели zde безчестное, и позорное, и горкое житие под руками враг своих» — так начинается «Новая повесть о преславном Российском царстве». Далее идут разоблачения боярского правительства — русских пособников иноземных интервентов и захватнических замыслов польского короля Сигизмунда III. «Новая повесть» предшествует агитационным грамотам организаторов первого ополчения, действовавшего под Москвой в марте 1611 года. Это не повесть в собственном смысле этого слова, а обличительное сочинение против отдельных членов боярского правительства — «земледельцев-землесьедцев», «правителей-

кривителей», разоблачение их предательской политики, противопоставляемой поведению жителей Смоленска, выдержавших осаду войска Сигизмунда III, и «крепкой» позиции, занятой «воином Христовым» патриархом Гермогеном, решительно отказавшимся пособничать интервентам.

Близко к «Новой повести» стоит и «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства». Это произведение написано в жанре политических плачей, посвященных тем или иным горьким событиям истории («Плач о взятии Царьграда в 1453 г.», «О Псковском взятии 1510 г.»). В отличие от «Новой повести» автор «Плача» изобличает все русское общество, повинное в происходящем: «Правда в человецех оскуде, и воцарися неправда, и всякая злоба и ненависть, и безмерное пьянство, и блуд, и несытное мздоимание, и братоненавидение умножися».

Если в «Писании о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского» и в других последующих произведениях не было еще какой-либо прямой агитации за того или иного претендента на царский престол, то вскоре появился целый ряд произведений, прямо агитировавших за избрание на царство Василия Шуйского. Таким было «Сказание и повести еже содеяся в царствующем граде Москве и о растриге о Гришке Отрепьеве и о походе его», близкое по своей направленности к грамотам Василия Шуйского 1606 года.

По поручению правительства Василия Шуйского было составлено и «Житие царевича Димитрия».

Когда войска Болотникова приближались к Москве, было пущено в ход и такое решительное средство, как изображение некоего чуда, якобы прямо и свыше указывавшего на божественное неодобрение происходящей Смуты. Это была «Повесть о видении некоему мужу духовну», обнародованная по царскому указу. «Видение» не просто указывало на то, кто прав и кто не прав в происходившей борьбе, но стремилось побудить народ к некоей демонстрации своей лояльности: оно призывало людей к покаянию, посту, угрожало предать «кровоядцам и немилостивым разбойникам» тех, кто не покается, перечисляло грехи, за которые отвечают все люди: «праздные беседы», осквернение нравов, несправедный суд, захват чужих имений и даже постригание бород.

Избрание на царство Михаила Федоровича и относительное успокоение в политической борьбе не изменило характера литературы 1620–1640-х годов. Литература продолжает развивать те или иные версии происхождения Смуты; произведения пишутся в защиту или опровержение прав на престол отдельных лиц, обвиняют их, оправдывают, бранят или восхваляют.

В событиях Смуты было много такого, что необходимо было правительству избранного на царство Михаила Романова официально объяснить народу. Специальная комиссия по поручению Земского собора 1612–1613 годов составляет «Грамоту, утвержденную об избрании на Российский престол царем и самодержцем Михаила Федоровича Романова». Эта «Грамота» описывает события Смуты с основной целью – защиты династических прав Романовых на царский престол. Поэтому здесь, в «Грамоте», дается идеализированное изображение жены Ивана Грозного Анастасии Романовой и ее благотворного влияния на мужа в государственных делах.

С окончательным утверждением Романовых на царстве борьба за престол, борьба с интервентами, прекратившиеся в жизни, продолжают все же свое существование в литературе. Авторы обеспокоены возможностью новых измен или появления новых самозванцев, продолжают страстно обсуждать события прошлого. Существенное различие только в том, что авторы, пишущие после Смуты, больше рассуждают, философствуют и обобщают, извлекают для читателей уроки из всего случившегося.

Очень характерен в этом отношении «Временник» дьяка Ивана Тимофеева. Сведения о происходившем он собирает из разных, иногда сомнительных источников, в чем признается сам, но при этом обобщает и философствует, изобличая то правящие слои общества, то народные массы. По старой манере подменять живую мысль риторикой, он крайне запутывает изложение и в общем лишает себя читателей, о чем свидетельствует то, что дошло это сочинение в единственном списке и оставило по себе единственный след – в правительственном продолжении «Книги Степенной» 60-х годов XVII века. В ней «Временник» Тимофеева был использован одновременно и как источник сведений и для стилистического оформления излагаемого.

Наибольшей известностью из сочинений о Смуте пользовалось «Сказание» монастырского келаря Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря, составленное им в 1620 году. Оно дошло до нас во множестве списков XVII и XVIII веков. Читателям нравились и его живое изложение и документальность. В него были включены свидетельства участников обороны Троице-Сергиева монастыря. В основе первых шести глав, по-видимому, лежит сочинение другого автора — «Сказание, киих ради грех», — носившее резко обличительный характер и смягченный при переработке Авраамием. Взгляды Авраамия Палицына занимают главенствующее положение: они изложены в ярких и занимательных картинах обороны Троице-Сергиева монастыря и им придана сугубо патриотическая окраска. События Смуты, как никогда ранее, возбудили у автора, а вслед за ним и у читателя, патриотические чувства.

Читая произведения, посвященные Смуте, мы должны учитывать и то обстоятельство, что защита родины приобрела в этих описаниях характер также и защиты веры, а потому все произведения о Смуте носят в этот период черты религиозно-церковной идеологии и фразеологии. Недавнее историческое прошлое, следы которого на каждом шагу встречались на широком пространстве Русской земли в виде разрушенных зданий, пропавших ценностей и документов, о чем невозможно было забыть, продолжало тревожить воображение, требовать объяснений и оправданий.

Вслед за «Сказанием» Авраамия во второй половине 1620-х годов в рукописях появилось «Иное сказание», компилятивный памятник, основной особенностью которого, а может быть и задачей, стало оправдание Василия Шуйского и его политики. «Иное сказание» было противопоставлено «Сказанию» Палицына.

В 1626 году была написана и «Летописная книга» («Повесть книги сея от прежних лет») — произведение, прежде приписывавшееся князю И.М. Катыреву-Ростовскому. «Повесть», также посвященная Смуте, постоянно перерабатывалась, так как она выражала официальную точку зрения, а эта официальная точка зрения не отличалась особой устойчивостью, менялась, применялась к обстоятельствам «нынешних» нужд. Во всяком случае официальная точка зрения не исключила обличение «грехов» правящего класса, что было в пред-

шествующее время большим достижением литературы о Смуте, но затушевывала роль народа в национально-освободительной борьбе. Другой чертой «официальной» литературы была ее умеренность, стремление сгладить сложность событий. Учитывая отсутствие определенности в оценке событий, автор сам «на всякий случай» давал им неопределенные характеристики. Он был готов на компромисс с любым направлением во взгляде на события Смуты.

«Словеса дней, и царей, и святителей московских» — любопытное произведение любопытного человека — Ивана Андреевича Хворостинина. Автор «Словес» был запятнан своим поведением во время Смуты и стремился изобразить события, которых он был свидетелем, со скрытой целью оправдать свое поведение, а отчасти даже восхвалить свою ученость, прозорливость и религиозную правоверность. Если первое (то есть «ученость» его) просто сомнительно, то второе (прозорливость) и третье (правоверность) прямо противоречат фактам. Он служил при дворе Лжедмитрия кравчим и был за это сослан в Иосифов Волоколамский монастырь на покаяние. Тексты писания он толковал совсем не в духе православия, отрицал христианские догматы, писал вирши, а затем оправдывался в других своих сочинениях.

Подобно Ивану Андреевичу Хворостинину, автором с запятнанной биографией был и другой писатель, его родственник, — Семен Иванович Шаховской. В свое время он отъезжал в Тушино, а из Тушина к польскому королю Сигизмунду. Был четырежды женат, что считалось в Древней Руси церковно недопустимым. Еще и за какие-то другие вины Шаховской был заточен, а затем сослан.

Его перу принадлежит «Повесть известно сказуема на память великомученика Димитрия», посвященная убийству в Угличе царевича Дмитрия. Дмитрий интересовал Шаховского как родившийся от шестого брака Ивана Грозного. Шаховской доказывал законные права на престол Дмитрия и делал это с жаром, ибо самому ему приходилось доказывать законные права своих «деток» от четвертого брака. Другое его сочинение — «Повесть о некоем мнисе» (монахе) — о Лжедмитрии. Образованный и искусный писатель, он предстает в своих многочисленных произведениях во всем своем трудолюбии и таланте.

Частичное возвращение к старым порядкам выразилось прежде всего в возрождении в летописании официальной правительственной точки зрения на историю. В 1630 году был закончен «Новый летописец». Он опирается в основном на «Сказание» Авраамия Палицына и пытается восстановить авторитет царской власти, и в частности утвердить на основе возрождения монархической идеологии взгляд на Романовых как на династически правомочных престолонаследников.

Любопытным документом философского осмысления исторических событий явилось произведение далеко не ясного происхождения, носящее заглавие «О причинах гибели царств». Знакомясь с фактами, приводимыми в этом произведении, русские читатели имели возможность задуматься над судьбами своей истории, сопоставить ее и с историей других стран. Основная причина «гибели царств» согласно мысли автора «О причинах» — повреждение нравов, что в целом согласуется с мыслию многих других русских авторов, писавших о Смуте.

Наконец, из повествований о Смуте следует упомянуть и о таких, в которых сказалось непосредственное отношение к событиям писателей, ставивших себе целью простую информацию о фактической стороне событий. Традиционно центрами своеобразного «простописания» были на Руси Псков и Новгород. Особенно замечательна «Псковская летописная повесть о Смутном времени». Псковские события отражены в ней в манере псковского летописного рассказа, близкого к разговорному повествованию с характерным для автора псковским просторечием.

Наблюдательность, завоевывающая все большее и большее место в литературе XVII века, отразилась и еще в одном виде древнерусских письменных произведений — «травниках» и «лечебниках». Если произведения о Смуте демонстрировали новое и более глубокое отношение к внутреннему миру человека, то письменные памятники, которые вряд ли можно отнести к литературе, «травники» и «лечебники» поражают своей наблюдательностью к природе, к растениям, которым, впрочем, приписывают иногда совершенно фантастические, а в некоторых случаях и «поэтические» свойства.

«Лечебники» и «травники» — это не только своеобразные руководства к отогнанию зла — душевного и телесного. Это

великолепные памятники языка и эстетического понимания окружающего мира. Богатство способов для описания трав, цветов, кореньев, тех мест, в которых растет то или иное «зеление», необыкновенно велико, демонстрирует наблюдательность, точность — и глаза, и языка, а вместе с тем и своеобразие народных воззрений на мир.

Возникли эти рецепты по лечению травами давно, впитав в себя тысячелетний опыт, а иногда и тысячелетние суеверия. Как трава, пробиваясь через почву, тексты лечебников формировались многими десятилетиями и столетиями, но только с начала XVII века в пору демократизации письменности они вышли на поверхность и оформлялись в самостоятельные руководства.

Когда что-то уходит из бытования в живой, устной практике, оно начинает записываться. Записываться в начале XVII века начинает фольклор, записываются пословицы, поговорки и обычные речения, записывается медицинская практика. Характерны также записи иностранцев, посещавших и живших в России. Англичанин Ричард Джемс собрал песни, некоторые из которых были, возможно, сочинены специально для него, поскольку фольклорные песни не только исполнялись традиционно, но и импровизировались в традиционных формах. В Пскове в 1607 году записи бытовых речений вел немец Тённи Фенне. Многие из записей в его «Разговорнике» представляют собой своеобразные новеллы: рассказы о том, в какой ситуации могли оказаться те или иные иностранные купцы, приехавшие в Россию.

Видно, что не только в литературе, но и в самой жизни, в бытовой и в деловой письменности накапливался материал, способный вот-вот войти в литературу, сделав ее более изобразительной и менее приподнятой над действительностью. Литература переставала служить, как прежде, праздничному и официальному отражению жизни.

Перейдем теперь к суммарной характеристике того, что литература приобрела в начале XVII века в области «человековедения», — самой важной для литературы и особенно для периода начавшейся ее перестройки.

В целом литература первой трети XVII века при всем разнообразии ее жанров, точек зрения, стилистических решений, отношения к фольклору и т. д. была литературой одной главной темы — темы Смуты, ее истоков, причин, характера, описания событий и поисков вин и виноватых.

Произведения этой поры резко отделяются от предшествующих летописей, исторических повестей, хронографов и «Степенной книги» рядом особенностей, и в первую очередь повышенным интересом к человеческому характеру и новым к нему отношением. Изображение характеров исторических лиц составляет отныне одну из главных особенностей исторического повествования. Эти характеристики не только увеличиваются в объеме, но и изменяются по существу. По сути дела, «Временник» дьяка Ивана Тимофеева представляет собой собрание характеристик деятелей Смуты и событий Смуты. Это своеобразная портретная галерея, соединенная с галереей картин исторического жанра. Иван Тимофеев не стремится к фактической полноте и последовательному хронологическому изложению событий. Автор не столько описывает факты, сколько их обсуждает.

Равным образом и «Словеса дней, и царей, и святителей московских» Ивана Хворостинина состоят в основном из характеристик деятелей Смуты, начиная с Бориса Годунова. Во вступлении к своему труду Иван Хворостинин разъясняет цели своего произведения: он желает описать «пастырь наших детелей (деятелей. — Д.Л.)», подвиги «великодушных мужь, и безкровных мучеников, и победоносцев».

То же самое может быть сказано и о «Повести книги сея от прежних лет», в конце которой помещено даже особое «Надписание вкратце о царех московских, о образех их (т. е. о их внешности. — Д.Л.), и о возрастех, и о нравех».

В известной мере тем же стремлением к обсуждению характера исторических личностей отмечено и «Сказание» Авраамия Палицына, и «Иное сказание», и «Повесть» Семена Шаховского, и мн. др.

С наибольшей четкостью эта новая черта исторического сознания сказывается в статьях, посвященных русской истории, Хронографа редакции 1617 года. Литературные достоинства этих новых русских статей Хронографа и значение их

в развитии исторического знания на Руси до сих пор еще недостаточно оценены.

Состав Хронографа редакции 1617 года обнаруживает в его авторе человека с незаурядной широтой исторических интересов. Предшествующая всемирная хронография в пределах от XI и до XVII века в гораздо большей степени, чем русское летописание, была подчинена религиозным задачам. Всемирная история трактовалась в значительной степени, хотя и не целиком, как история православия в борьбе с ересями. Редакция Хронографа 1617 года – первый и крупный шаг на пути секуляризации русской хронографии. Это отчетливо выступает в тех дополнениях, которыми распространил автор редакции 1617 года основное, традиционное содержание Хронографа. Здесь и новые статьи из Еллинского летописца (преимущественно выдержки из Хроники Иоанна Малалы, касающиеся античной истории), здесь и сочинения Ивана Пересветова, и дополнения из католических хроник Мартина Вельского и Конрада Ликостена. Из этих последних выписаны статьи географического содержания (например, об открытии Америки – первые на Руси о ней известия), статьи об античной мифологии или общие статьи о магометанстве, статьи по истории пап, по истории западно-европейских стран, по истории Польши. Все это не имело отношения к истории православия и даже иной раз противоречило официальной точке зрения на историю православия. Не меньший интерес имеют и вновь включенные статьи, посвященные описанию наружности богородицы (из слова Епифания Кипрского «О житии пресвятыя владычица наша богородице») и наружности Христа («Описание же божественныя Христовы плоти и совершеннаго возраста его»). В них сказывается интерес к реальному «портрету». Благодаря всем этим дополнениям Хронограф 1617 года отличается значительно более светским характером, чем предшествующий ему Хронограф редакции 1512 года. Однако наиболее отчетливо этот светский характер редакции Хронографа 1617 года обнаруживается в его подробном повествовании о событиях русской Смуты.

Давно уже было отмечено, что рассказ Хронографа 1617 года о событиях русской истории XVI – начала XVII века представляет собой единое и стройное произведение. Это ощущается не только в стилистическом и идейном единстве

всего повествования, но прямо подчеркивается автором путем постоянных перекрестных ссылок: «о нем же впереди речено будет в Цареградском взятии» или просто — «о нем же впереди речено будет», «о нем же писах в царстве блаженный памяти Феодора Ивановича», «о нем же писах и прежде» и т. п.

Необходимо при этом отметить, что и само это произведение, как и вся композиция Хронографа 1617 года, идет по пути той же секуляризации исторической литературы. В нем нет ссылок на священное писание, нет религиозного объяснения событий. Автор не приписывает «Смуту» наказанию Божию за грехи всех русских людей, как это еще делают некоторые другие сочинители исторических произведений первой половины XVII века. Этот светский дух пролизывает собою и всю систему характеристик деятелей русской истории. Перед нами в Хронографе 1617 года действительно «система» характеристик: теоретически изложенная в кратких, но чрезвычайно значительных сентенциях и практически примененная в изображении действующих лиц Смуты. Эта «система» противостоит средневековой, она подвергает сомнению основные принципы агиографического стиля. В ней нет резкого противопоставления добрых и злых, грешных и безгрешных, нет строгого осуждения грешников, нет «абсолютизации» человека, столь свойственной идеалистической системе мировоззрения Средневековья.

В предшествующие века человек, особенно в житийной литературе, выступает по преимуществу либо совершенно добрым, либо совершенно злым. Правда, в литературе исторической эта идеализация и абсолютизирование нарушались сплошь и рядом, но эти нарушения были бессознательными, они не входили в художественный замысел автора, они происходили под влиянием воздействия самой действительности, дававшей материал для изображения человека, или под влиянием тех литературных образцов, которые писателю служили. Противоречивые черты могут быть замечены в изображении Дракулы в «Повести о Мутьянском воеводе Дракуле» (он справедлив и одновременно извращенно жесток), в изображении отдельных летописных героев и т. д. В «Повести о Дракуле» — последний «дьявол», но поскольку и в богословских представлениях того времени на дьявола возлагается «обязанность» возмездия за грехи людей, — он одновременно и спра-

ведлив: наказывает преступников тем, чем они провинились. Однако противоречивость характера исторического деятеля никогда еще не отмечалась в письменности особо. Она не осознавалась, не декларировалась авторами, хотя невольно уже и изображалась. Никогда исторические писатели сознательно не ставили себе целью описать эту противоречивость. Она слагалась как бы стихийно, слагалась в сознании читателя, а не в намерениях и тем более не в декларациях авторов.

Только в начале XVII века исторические писатели впервые открыто заговорили о противоречивости человеческого характера. Особенно ярко это опять-таки сказалось в Хронографе 1617 года. Человеческий характер объявляется автором Хронографа 1617 года сотканным из противоречий, сложным, в известной мере «относительным», соотнесенным со средой, условиями жизни, особенностями биографического порядка. «Не бывает же убо никто от земнородных безпорочен в житии своем», — объявляет автор Хронографа. «Но убо да никто же похвалится чист быти от сети неприязньственного злокозньствия врага», — повторяет он. «Во всех земнородных ум человекь погрешителен есть, и от добраго нрава злыми совратен»; иначе говоря, — каждый человек в той или иной степени «совращен» от «добраго нрава», данного ему при рождении. Нет, следовательно, во-первых, людей только злых или только добродетельных, и, во-вторых, человеческий характер создается жизнью. Живой пример такого «совращения» доброго нрава на злой — Иван Грозный. Первоначально Грозный — образец доброго, мудрого и мужественного царя: «Он же убо имый разум благообычен, и бысть бе в мужестве, умен, еще же и во бранех на супротивныя искусен, велик бе в мужестве, и умеа на рати копием потрясати, воиничен бо бе и ратник непобедим, храбросерд же и хитр конник». Но стоило умереть Анастасии Романовой, поддерживавшей в Грозном его «добрый» от природы нрав, как характер его резко меняется — от старого не остается и следа. Перед нами другой человек, с диаметрально противоположным характером: «Блаженная же и предобрая супруга его не во многих летех ко господу отиде, и потом аки чюжая буря велия припаде к тишине благосердия его, и не вем, како превратися многомудренный его ум на нрав яр и нача сокрушати от сродства своего многих, такоже и от велмож синклитства своего».

Если в этой характеристике Грозного автор Хронографа 1617 года еще зависит от Курбского и, следуя за этим последним, распределяет добродетели и злодеяния Грозного во времени, относя первые к первой половине царствования, а вторые ко второй, то во всех последующих характеристиках автор Хронографа 1617 года уже не прибегает к такому механическому разделению свойств характера во времени. Он совмещает их одновременно в одном и том же человеке, впервые в истории русской исторической мысли сознательно создавая жизненно-противоречивые характеристики исторических лиц, создавая образы, полные «шекспировских» противоречий, драматизируя историю душевной борьбы, внося в них коллизии, борьбу и творя характеры, которые впоследствии действительно привлекли внимание историков и драматургов.

Сознательной противоречивостью исполнена характеристика Бориса Годунова; противоположные качества его натуры как бы нарочно сопоставлены, сближены в одной и той же фразе с тем, чтобы подчеркнуть противоречие: Борис «аще и зело прорассудительное к народом мудроправльство показа, но обаче убо и царстей чести зависть излия». Подробная характеристика Бориса, с которой начинается повествование о его царствовании в Хронографе 1617 года, вся построена на этом совмещении положительных и отрицательных качеств его характера: «Сей убо государь царь и великий князь Борисъ Федоровичъ во свое царство в Русийскомъ государствѣ градов и монастырей и прочихъ достохвалныхъ вещей много устройвъ, ко мздоиманию же зело бысть ненавистень, разбойства и татьбы и всякаго корчемства много покусився, еже бы во свое царство таковое неблагоугодное дѣло изкоренити, но не возможе отнюдь. Во бранех же неизкусень бысть: время бо тому не настояше. Оруженосию же не зело изящень... Но убо да никтоже похвалится чисть быти от сѣти неприятелственаго злокозньствия врага», — заключает автор характеристики Бориса.

Из тех же противоречивых черт соткана и характеристика патриарха Гермогена. Признавая, что Гермоген был «словесен мужъ и хитрорѣчивъ», составитель Хронографа 1617 года тут же добавляет: «но не сладкогласень», и дальше: «а нравомъ грубъ и къ бывающим в запрещенняхъ косень к раз-

рѣшениямъ. Ко злымъ же и благимъ не быстроразпрозрителенъ, но ко лстивымъ паче и лукавымъ прилежа и слуховѣрствователенъ бысть».

Из противоположных качеств соткана в Хронографе и характеристика Ивана Заруцкого: «Не храбръ и сердцем лють, но нравомъ лукавъ». Достаточно сложна характеристика Козмы Минина: «аще и неискусенъ стремлениемъ, но смѣль дерзновениемъ» и т. д.

Вслед за автором Хронографа 1617 года эту противоречивость, контрастность человеческого характера подчеркивают и другие авторы исторических сочинений первой половины XVII века. Прямолинейность прежних летописных характеристик по немногим рубрикам (либо законченный злодей, либо герой добродетели) исчезает в произведениях начала XVII века. Прямолинейность предшествующих характеристик отброшена — и с какою решительностью! Вслед за Хронографом 1617 года наиболее резко сказывается новый тип характеристик во «Временнике» Ивана Тимофеева. Характеристика Грозного составлена Иваном Тимофеевым из риторической похвалы ему и самого страстного осуждения его «пламенного гнева». Все люди причастны греху: «...сице и сему (т. е. Грозному), осрамившуся грехом, ему же причастни вси».

Тимофеев дает разностороннюю и очень сложную характеристику Борису Годунову и утверждает, что должен говорить и о злых, и о добрых его делах: «И яже злоба о Борисе извещана бѣ, должно есть и благодеяний его к миру не утаити». Тимофеев как бы считает себя обязанным писать о добродетелях Годунова, поскольку он пишет и о его «злотворных»: «Елика убо злотворная его подробну написати подщажомся, сице и добротворивая о нем исповѣдати не облекнемся». Совмещение скверных и добрых качеств в характеристиках Тимофеев считает знаком их беспристрастности: «И да никто же мя о сих словесы уловит, иже о любославнем разделением: во овых того есмь уничижая, в прочих же, яко похваляя». И в другом месте: «Егда злотворная одинако изречена бы, добрая же от инѣх сказуема, нами же умолкнута, — яже неправдование обнажилось бы списателево. А иже обоя вправду извѣстуема без прилога, всяка уста заградятся», то есть никто не сможет возразить и упрекнуть автора в при-

страсти, в односторонности, если он будет отмечать в человеке и злые и добрые черты. Положительная же или отрицательная характеристика лишь обнажает «неправдование» писателя, его необъективность. Иван Тимофеев не может решить, какая из чаш весов перетянет после смерти Бориса: «В часъ же смерти его никто же вѣсть, что везодоль и кая страна мѣрила претягну дѣль его: благая ли злая». Так же, как и автор Хронографа 1617 года, Иван Тимофеев не рассматривает злое и доброе начала в характере человека как нечто извечное и неизменное.

Впервые в русской литературе писатели начала XVII века стремятся выяснить причины появления и роста в характере исторического лица тех или иных качеств, рассматривают влияние одного человека на другого. Автор Хронографа 1617 года отмечает, как мы уже говорили, доброе влияние Анастасии Романовой на Грозного, с исчезновением этого влияния, после смерти Анастасии, меняется характер Грозного. Иван Тимофеев как один из факторов добродетели в характере Бориса сходно отмечает доброе влияние на него со стороны царя Федора Ивановича: «Не вем вещи силу сказати, откуда си ему доброе прибысть: от естества ли, ли от произволения, ли за славу мирскую... Мню бо, не мал прилог и от самодержавного вправду Феодора многу благу ему навькнути, от младых бо ноготь придержася пят его часто».

Впервые, следовательно, в русской литературе применительно к историческим деятелям был поднят вопрос о причинах, вызывающих появление тех или иных черт в человеческом характере. Вневременная и абсолютная сущность человеческого характера, какой она представлялась в Средневековье, поколеблена. Автора уже не смущает изменчивость характеров, как не смущают и контрасты в них.

Иван Тимофеев различает в исторических деятелях следующие слагаемые их характера наряду с «естеством»: «произволение», то есть свободный выбор человека, «за славу мирскую», то есть тщеславие — оглядку на людское мнение, и, наконец, непосредственное влияние других людей — в данном случае царя Федора. Перемена этих слагаемых вызывает изменения в человеческом характере. Так же, как Грозный у автора Хронографа 1617 года, у Ивана Тимофеева Борис Годунов меняет свой характер под влиянием изменения внеш-

ней обстановки. Эта перемена картинно изображена Иваном Тимофеевым: «Сице и Борис, егда в равночестных честен бе и по цари вся добре управляя люди, тогда по всему благ является, во ответех убо обреташеся сладок, кроток, тих, податлив же и любим бываше всем... По получении же того (царского сана. — Д.Л.) величеством абия претворся и нестерпим всяко, всем жесток и тяжек обрется; о людех варив (заботясь. — Д.Л.) благотворением малем и прельсти державу свою».

Сложная и контрастная характеристика Бориса обошла всех писателей, писавших о Смуте после 1617 года. Она сказалась не только во «Временнике» Ивана Тимофеева, но и в «Словесах дней, и царей, и святителей московских» Ивана Хворостинина. У него мы видим то же совмещение в образе Бориса противоречивых качеств: «Аще убо лукав сый нравом и властолюбив, но зело и боголюбив: церкви много возгради и красоту градцкую велелѣнием исполни, лихоимцы укроти, самолюбных погубив, областем странным страшен показася, и в мудрость жития мира сего, яко добрый гигантъ облечеса, приим славу и честь от царей». А затем без всякого перехода: «...и озлоби люди своя, и востави сына на отца и отца на сына, и сотвори вражду в домѣх ихъ, и ненавидѣние и лесьть сотвори в рабѣх, и возведе работныхъ на свободных, и уничижи господа началствующих, и соблазни миръ, и введе ненависть, и востави рабы на господей своих, и власти сильных отъя, и погуби благородныхъ много, иже нелѣпо есть днесь простерти слово, да не постигнет нас время, повести дающе».

Контрастная характеристика Бориса предложена читателям и в «Повести книги сея от прежних лет»: «Той Борис образом своим и дела множество людей превзошед; никъто бо бе ему от царских синклит подобен во благолепии лица его и в разсуждение ума его; милостив и благочестив, паче же во многом разсуждении доволен, и велеречив зело, и в царствующем граде многое дивное о себе творяще». А затем сразу: «Но токмо единое неисправление имейше предо всеми людьми: во уши его ложное приношаху; радостно тово послушати желажу и оболганных людей без рассуждения напрасно мучителем предавах. И немилостиво мучити повелех. И властелюбив велми бываху. Началников всего Росийского государства

и воевод, вкупе же и всех людей подрученны себе учини, яко же самому царю во всем послушну ему быти и повеленное творити».

Остались чужды этой характеристики Бориса лишь «Иное сказание», хотя и испытавшее влияние Хронографа редакции 1617 года, но в своей начальной части более всего зависящее от «Повести, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов», и «Сказание» Авраамия Палицына в основной своей редакции, составленное еще до 1617 года.

Таким образом, проблема человеческого характера встала перед историческими писателями первой половины XVII века во всей ее сложности, какая только могла быть доступна в эту эпоху. Самое зло и добро в применении к человеческому характеру оказались относительными. Эту мысль прямо декларирует автор Хронографа 1617 года, поясняя, что от зла может произойти добро, а от добра зло: «Бывает бо по случаю и пельнная лютость врачевания ради недуг в достохвалных словесех приобношается. Тако же и от сеговыя злобы произыде доброта».

Это новое представление о человеческом характере сказывается во всех деталях восприятия исторических лиц. Многие старые средневековые добродетели уже лишены своего положительного значения. Безусловные прежде добродетели оказываются относительными. Добродетели, заложенные в характере исторических лиц, сыгравших отрицательную роль в русской истории, оказываются только вредными. О Дмитрие Самозванце автор Хронографа 1617 года говорит: «...ко книжному прочитанию борзозрителен, но не на благо». Внешность человека уже не соответствует, как раньше, его характеру. Иван Тимофеев так, например, описывает внешность своих современников, легкомысленно предавшихся Самозванцу: «Вместо разума токмо седину едину имуще и брадную власом долготь, юже являху людем и красахуся тою, яко мудрии». Все большее и большее значение в характеристике исторических лиц приобретают их поведение, их действия. Это отчетливо видно в тех случаях, когда сравнение, образ, применяемый к человеку, имеет в виду его действия, но не его внутреннюю сущность, которая, как мы видели, в известной мере признавалась непознаваемой. Автор Хроно-

графа 1617 года вряд ли считает патриарха Фермогена похожим на птицу, когда пишет, что его «аки птица в закlete глaдом умориша».

Вследствие этой манеры применять к историческим лицам различные образные сравнения по их функции, по их действию, а не по их сущности, авторы прибегают к таким сравнениям людей, которые, казалось бы, совершенно не шли к ним, с точки зрения эстетической системы нового времени: историческое лицо может быть уподоблено реке, буре, молнии, горе, раю, ограде и т. д.; оно может быть сравниваемо с различными дикими зверями, внешне мало похожими на человека. Автор Хронографа 1617 года сравнивает Бориса Годунова с «морем», с «езером»; Дмитрия Самозванца он называет «злoдыхательной бурей». Тушинский вор – «злoбѣсный и кроволокательный пeсь, или чeлoвѣкоядный звѣрь, иже лукавое око отверзе и злое рыкание испусти». Федор Иванович, говорит автор Хронографа 1617 года, «ограда бысть многихъ благъ, яже водами божиими напоема, или рай одушевленъ, иже храня благодатная садовия». Его же он называет «свeща страны Руския». Все эти несовместимые с нашим эстетическим сознанием сравнения объясняются тем, что человек подвергается характеристике по «функции», по своим «делам». Об этом прямо однажды и заявляет автор Хронографа 1617 года, характеризуя Тушинского вора: «...се другое зло прииде, другой зверь подобен первому явился не образом, но делы».

Внешне этот способ характеристики человека еще очень близок к средневековой системе, к системе Хронографа 1512 года – самые образы старые, но функция их в значительной мере новая, поскольку новым оказывается самое видение человеческого характера, восприятие человеческой личности, ее оценка. И то, и другое, и третье оказываются бесконечно более сложными, чем в предшествующий период, и вместе с тем более реальными, более близкими действительности.

Замечательно, что характеры исторических лиц показаны в произведениях о Смуте не изолированно. Они раскрываются в связи со слухами о них, в связи с народной молвой. В древнерусских летописях редко встречается передача разных точек зрения на события, не согласных с авторской, характеристик неавторских. Между тем авторы исторических

произведений о Смуте постоянно ссылаются на различные слухи, разговоры, толки, отчетливо осознавая значение «общественного мнения». Автор Хронографа 1617 года ссылается на разговоры о ссылке Нагих в Углич, об убийстве Борисом царевича Дмитрия, о поставлении Филарета Никитича и т. д. Характеры исторических лиц показаны на фоне народных толков о них. Вот как характеризуется, например, Самозванец: «...глаголаше же о немъ мнози, яко по всему уподобитися ему нравомъ и дѣлы скверному законопреступнику, нечестивому мучителю царю Иулиану». Передается и мнение народа о сыне Бориса — Федоре Борисовиче: «...о нем же мнози от народа тайно в сердцах своих возрыдаша за непорочное его житие».

Автор Хронографа 1617 года не стесняется приводить мнения, резко расходящиеся с его собственным. Он собирает все «за» и «против», подвергая их строгому разбору. Так, например, в Хронографе полностью переданы слова сторонников Тушинского вора о Василии Шуйском, которого автор Хронографа 1617 года в общем идеализирует. Эти «крамольницы» и «мятежницы» так отзывались о Шуйском: «...а нынѣ его ради кровь проливается многая, потому что онъ человекъ глупъ и нечестивъ, пияница и блудник и всячествованиемъ неизтовень, царствования недостойнъ». В противовес этому мнению приводится и другое: «Сия же слышавше, и мнози от народа... рекоша к ним: "Государь нашъ, царь и великий князь Василей Ивановичъ, сѣлъ на Московское государство не силно, выбрали его быти царем болшие боляре и вы, дворяня, и всѣ служивые люди, а пиянства и всякаго неизтовѣства мы в немъ не вѣдаем. А коли бы таковому совѣту быти, ино бы тутъ были и болшие боляре, да и всяких чиновъ люди"».

То же восприятие характера исторического лица через народную молву, слухи, иногда сплетни опять-таки встречается и во «Временнике» Ивана Тимофеева, и в «Словесех дней» Ивана Хворостинина. У Тимофеева окружена народной молвой смерть Грозного: «Глаголаху же нецыи, яко прежде времени той, яростнаго ради зельства, от своих раб подъя угашение своя жизни, яко же и чадом его по нем они сотвориша тожде. Смерти же его во странах языческих, яко о празднице светле, много сотворися радость и весело восплескаша руками». У Хворостинина в связи с народными толками дана ха-

рактеристика Гермогена: «...яко же слышахом, етери глаголюще, яко соблазн и смущение патриарх той сотворил есть и возведе люди своя братися на враги, владушца нами...»

Итак, характеры исторических героев не неизменны, они могут изменяться под влиянием других людей или с переменной обстановкой. В них могут совмещаться и дурные и хорошие качества. Человек по природе своей ни совершенно добр, ни совершенно зол. Беспорочных людей нет. Противоречивость, контрастность авторских характеристик исторических лиц служат как бы удостоверением объективности их изображения, так как только таким и может быть человек в представлениях первой половины XVII века. Характер человека преломляется в толках о нем. Историческое лицо оценивается в исторической перспективе, в его «социальной функции».

В чем же исторические корни новых воззрений на человеческую личность, нашедших себе место в литературных произведениях начала XVII века? Новое отношение к человеческому характеру отразило общее накопление общественного опыта и отход от теологической точки зрения на человека, начавшийся в XVI веке и усиленно развивавшийся в XVII веке. Период крестьянской войны и польско-шведской интервенции способствовал огромному накоплению опыта социальной борьбы во всех классах общества. Именно в это время вытесняется из политической практики, хотя еще и остается в сфере официальных деклараций, теологическая точка зрения на человеческую историю, на государственную власть и на самого человека.

Обратимся к некоторым фактам, чтобы представить себе конкретно влияние нового социального опыта на литературу. Мы видели выше, что обсуждению в литературе подвергались в первую очередь характеры монархов. Это далеко не случайно. Здесь сказалась новая практика поставления на царство «всею землею». Если в XVI веке Грозный в своих посланиях к Курбскому отрицал право подданных судить о действиях своего государя, утверждал богоизбранность монаршей власти, а в посланиях к Стефану Баторию насмешливо отзывался о его поставлении по «многмятежному человеческому хотению», то вскоре после его смерти это положение резко изменилось: в 1598 году состоялись первые выборы русского госу-

даря «всею землею». Теологическая точка зрения на происхождение царской власти и идея неподсудности монарха человеческому суду впервые возбудили очень серьезные сомнения.

Утвержденная грамота Бориса Годунова 1598 года хотя внешне и опирается на идею божественного происхождения царской власти, но практически объясняет необходимость власти государя чисто «земскими» причинами. Государь необходим для благосостояния своих подданных, и об этом выразительным жестом заявил сам Годунов во время своего венчания на царство: он взял за ворот свою рубашку и потряс ею, обещая и эту последнюю в случае нужды разделить со всеми для блага своих подданных.

Предвыборные страсти, несомненно, разжигали споры о достоинствах того или иного претендента на престол. Характер будущего монарха подвергался обсуждению в боярской думе, на соборе, среди ратников, в толпе народа у стен Новодевичьего монастыря, где народ, подгоняемый приставами, «молил» Годунова на царство. Уже упомянутая нами Утвержденная грамота 1598 года одним из доводов в пользу избрания Годунова на царство выдвигала личные черты его характера: его государственную мудрость, его добродетели и его заботу о «воинском чине».

Черты нового отношения к власти царя мы можем найти и в крестоцеловальной записи Василия Шуйского, и в грамотах патриарха Гермогена, и в июньском приговоре 1611 года, и в Утвержденной грамоте 1613 года, и т. д.

Крестьянская война постепенно вытравливала из народного сознания старое отношение к монарху как к наследственному, богоизбранному и человеческому суду не подсудному главе государства. Человеческий суд совершился и над Годуновым, и над Василием Шуйским, и над многими самозванцами. Этот суд был сперва судом народного мнения, а затем и судом действия. Характеры монархов обсуждались людьми «юнными», «малыми», «простыми» не в меньшей, может быть, степени, чем в среде боярства и дворянства.

Вслед за монархами обсуждение личных достоинств коснулось и всех руководителей ратного и «земского» дела. Июньский приговор 1611 года отчетливо отразил мысль о том, что начальниками должны быть люди способные, а не

только бояре и княжата. История выдвинула тому конкретный образец – «говядаря» (торговца «говьядами» – рогатым скотом) Кузьму Минина. Черты человеческого характера стали, следовательно, предметами всеобщего обсуждения. Вопрос о них в отдельных случаях приобретал государственное значение. Вот почему и в литературе так часто начало упоминаться народное мнение. Меньше всего в этом новом критерии для избрания «всенародным единством» монарха или военного руководителя было заинтересовано боярство. Поэтому-то характеру русских правителей относительно мало уделяют места боярские писатели начала XVII века: Авраамий Палицын, Катырев-Ростовский и некоторые другие. К ним, напротив, весьма внимательны писатели – обличители бояр: дьяк Тимофеев, автор Хронографа 1617 года и некоторые другие.

Итак, с начала XVII века перед историческими писателями встала особая задача замечать и описывать сложность человеческого характера. Эта задача была выдвинута перед литературой самой политической жизнью, и вместе с тем она ответила внутренним потребностям развития самой литературы. Еще многое в литературе XVII века в приемах составления характеристик исторических лиц восходит к житийной литературе, к Хронографу, но многое уже видится по-иному. Еще форма остается старой, но глаз уже воспринимает острее и наблюдательнее прежнего. Но самое замечательное в литературе начала XVII века – это сознательность введения новых принципов характеристик исторических лиц. Авторы XVII века не только по-новому описывают характер исторических лиц, но высказывают принципиальные суждения о том, каким он им представляется. Недалеко то время, когда и самые приемы изображения человеческого характера изменятся, улягутся в новую литературную систему.

Изменение в отношении авторов XVI–XVII веков к человеческому характеру может быть изображено в такой последовательности: первоначально растет интерес к психологии исторических личностей, и рост этот отмечен чисто количественным увеличением числа и объема характеристик в произведениях XVI века; затем авторы исторических произведений начала XVII века научаются по-новому изображать

характер исторических лиц, замечают в нем многое такое, что не было доступно их предшественникам, и одновременно начинают высказывать новые суждения о человеческих характерах, осознавая их сложность. Каждый новый этап в этом «обнаружении» характера непосредственно вызывался исторической действительностью. Новое отношение к человеческому характеру не было только явлением узколитературным. Оно позволило по-новому взглянуть на современность, на трагические события, свидетелями которых были писатели, и явилось новым этапом в развитии патриотического сознания.